



М. Ф. ОРЛОВ

Капитуляция Парижа

Война слов и фраз продолжалась бы еще более, если б они не заметили, со свойственной французскому народу вообще сметливостью в разговоре, что существенно ни в мыслях моих, ни в чувствованиях не было ничего особенно враждебного для их самолюбия¹. Мало-помалу эпиграммы заменились разговором более дружелюбным, и не более как через час мы уже беседовали так откровенно и приятельски, что все были довольны друг другом. Военные и другие анекдоты лились рекой, и много раз с обеих сторон позабывали суровость обстоятельств и взаимных отношений.

В это время и долго после того русские пользовались у французов гораздо большею благосклонностью, чем другие нации. Причину этого искали в предполагаемом сходстве характеров и вкусов; а я, напротив, приписываю стечению особенных обстоятельств. Мы любили язык, литературу, цивилизацию и мужество французов, с убеждением и энтузиазмом отдавали им во всех этих отношениях справедливую дань удивления. Мы не имели, как англичане и немцы, литературы, которую могли бы противопоставить литературе французской; наша рождающаяся цивилизация не могла хвалиться своими открытиями в науках, успехами в искусствах. Что касается до храбрости, то обе нации славно и не один раз встречались друг с другом на полях боевых и научились взаимно уважать себя. Здесь мы также уже сошлись. Ко всем этим причинам надобно еще присовокупить великодушие и благость нашего государя и географическое положение России, не допускавшее никакого слишком близкого столкновения противоположных выгод.

Все это было обсуждаемо осторожно, с большею или меньшею силою, и доставило пищу разговору очень оживленному, который принял, наконец, оборот, исполненный радушия и вежливости. Один из этих офицеров рассказал мне, что, возвращаясь во время заключения Тильзитского мира к армии, он встретил в каком-то немецком трактире множество французских солдат, которые шли назад во Францию. Он спрашивал

у них об армии и между прочим о храбрости русских. «О! о! — сказал один старый французский гренадер, — знайте, государь мой, что когда сто французских гренадеров и сто русских встретятся между собою, так только живые ступают по телам убитых». Это был благородный и откровенный шаг к сближению. Я отвечал известным анекдотом о князе Багратионе, который, защищая один из бородинских редутов, до такой степени был восторжен неустрашимостью нападающей колонны, что ударил в ладоши и прокричал «Браво!» неприятелям, сорвавшим его позицию. Этот обмен вежливостей очень расположил к нам французов; но не должно было пытаться говорить им о других нациях, воевавших с ними; здесь их предубеждение превосходило все границы умеренности. В глазах их, австриец только нетерпеливо желал воспользоваться развалинами их военной фортуны; пруссак — только возмущившийся побежденный, которого должно наказать; англичанин — существо вероломное и ненавистное по превосходству. Все эти восклицания оканчивались сожалением об отступлении от того, что французы называли Эрфуртской политикой. «Если бы, — говорили они, — оба императора остались друзьями, то они разделили бы между собою весь мир». — «Но, — прибавили некоторые вполголоса, — и весь мир был тесен для Наполеона». Это было самое смелое слово, какое только они произнесли передо мною.

